

АЗБУКА-КЛАСИКА

NON-FICTION

ЙОХАН
ХЕЙЗИНГА

Осень Средневековья



Санкт-Петербург

УДК 94(44)»04/14»+94(492)»04/14»
ББК 63.3(0)4(4Фра)+63.3 (0)4(4Нид)
Х35

Johan Huizinga
HERFSTTIJ DER MIDDELEEUWEN

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Перевод с нидерландского Дмитрия Сильвестрова

Хёйзинга Й.

Х35 Осень Средневековья / Йохан Хёйзинга ; [пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова ;
коммент. Д. Э. Харитоновича]. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. —
720 с. — (Азбука-классика. Non-fiction).

ISBN 978-5-389-15564-0

Осень Средневековья — наиболее прославленное произведение выдающегося нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги. Впервые вышедшее в свет в 1919 г., оно выдержало на родине уже более двух десятков изданий, было переведено на многие языки и стало значительным культурным явлением XX века. Это поэтическое описание социокультурного феномена позднего Средневековья, яркая, насыщенная энциклопедия жизни, искусства, культуры Бургундии XIV–XV вв., с подробной характеристикой придворного, рыцарского и церковного обихода, бытового уклада представителей всех слоев общества. Источниками послужили литературные и художественные произведения бургундских авторов XIV–XV вв., религиозные трактаты, фольклор и документы эпохи.

УДК 94(44)»04/14»+94(492)»04/14»
ББК 63.3(0)4(4Фра)+63.3 (0)4(4Нид)

ISBN 978-5-389-15564-0

© Johan Huizinga, 1919

© Сильвестров Д. В., перевод на русский язык, 2018

© Харитонович Д. Э., комментарии, 2018

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018

АЗБУКА*

Предисловие к первому изданию

Возникновение нового — не этого ли наш дух более всего ищет в минувшем! Нам хочется знать, как зародились и расцвели те новые идеи и формы жизненного уклада, сияние которых впоследствии достигло своего полного блеска. Иными словами, мы рассматриваем некий период времени прежде всего как скрытое обещание того, что исполнится в будущем. Сколь ревностно выискивали мы в средневековой цивилизации ростки современной культуры! Столь ревностно, что порою казалось, будто история духовной жизни Средневековья представляет собою не более чем преддверие Ренессанса. И действительно, во времена, слывшие некогда закоспелыми, мертвыми, новое повсюду уже пускало побеги, и все словно бы устремлялось к будущему совершенству. Однако в поисках новой, еще только возникающей жизни мы легко забывали, что в истории, так же как и в природе, умирание и зарождение идут вровень друг с другом. Старые формы культуры умирают в то же самое время и на той же почве, где новое находит пищу для роста.

Здесь делается попытка увидеть в XIV и XV вв. не возвешение Ренессанса, но завершение Средневековья; попытка увидеть средневековую культуру в ее последней жизненной фазе, как дерево, плоды которого уже перезрели, — полностью раскрывшейся и достигшей вершины в своем развитии. Заращение живого ядра мысли рассу-

дочными, одеревенелыми формами, высыхание и отверждение богатой культуры — вот чему посвящены эти страницы. Мой взгляд, когда я писал эту книгу, устремлялся как бы в глубины вечернего неба, но было оно кроваво-красным, тяжелым, пустынным, в угрожающих свинцовых прогалах и отсвечивало медным, фальшивым блеском.

Теперь, оглядывая написанное, я спрашиваю себя, не растворились бы все мутные краски в прозрачной ясности, удержи я свой взгляд подольше на этом вечернем небе. Пожалуй, картина, которой я придал очертания и окраску, получилась более мрачной и менее спокойной, чем я рассчитывал, когда начинал этот труд. И легко может случиться, что читателю, внимание которого то и дело останавливается на упадке, на отжившем и увядающем, покажется чрезмерной падающая на эту книгу тень смерти.

Отправной точкой этой работы была потребность лучше понять искусство братьев ван Эйк^{1*} и их последователей, потребность постигнуть их творчество во взаимосвязи со всей жизнью эпохи. Бургундское общество было тем единством, которое я хотел охватить своим взором; мне казалось, что его можно рассматривать, несколько обобщая, как некое культурное целое, наподобие итальянского кватроченто^{2*}, и эта книга первоначально должна была носить название *De eeuw van Bourgondië* [Век Бургундии]^{3*}. Но, по мере того как мои цели принимали все более общий характер, я вынужден был ввести некоторые ограничения. Единство бургундской культуры приходилось постулировать лишь в очень узком смысле, небургундской Франции следовало уделить по меньшей мере столь же много внимания. Так вместо Бургундии самой по себе возникла пара: Франция и Нидерланды, и при этом весьма отличные друг от друга. Ведь при рассмотрении умирающей средневековой культуры в целом фран-

цузский компонент должен был оставить нидерландский далеко позади. Лишь в тех областях, где нидерландская культура имела самостоятельное значение: в религии и в искусстве, — о ней говорится подробнее. Некоторое нарушение в главе XVI установленных географических границ, с тем чтобы наряду с Рюйсбруком и Дионисием Картузианцем привлечь также Майстера Экхарта, Сузо и Таулера, в особых оправданиях не нуждается.

Сколь незначительным кажется мне сейчас число прочитанных мною книг и документов XIV—XV вв. по сравнению со всем тем, что я хотел бы еще прочитать! Сколь охотно я, помимо ряда основных духовных направлений, на которых большею частью основывается это представление об эпохе, указал бы и немало других! Но все же, если более всего я ссылаюсь: из историков — на Фруасара и Шастеллена, из поэтов — на Эсташа Дешана, из теологов — на Жана Жерсона и Дионисия Картузианца, из художников — на Яна ван Эйка, — это объясняется не столько ограниченностью материала, сколько тем фактом, что именно они щедростью и изощренным своеобразием творчества особенно ярко отражают дух времени.

Формы — в жизни, в мышлении — вот что пытаюсь я здесь описывать. Приближение к истинному *содержанию*, заключенному в этих формах, — станет ли и это когда-либо делом исторического исследования?

Январь 1919 г.

ГЛАВА I

Яркость и острота жизни

Когда мир был на пять веков моложе, все жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Стрдание и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо; человеческие переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которыми и поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок следовали разработанному и выразительному ритуалу, возвышаясь до прочного и неизменного стиля жизни. Важные события: рождение, брак, смерть — благодаря церковным таинствам были окружены сиянием божественной тайны. Но и вещи не столь значительные, такие как путешествие, работа, деловое или дружеское посещение, сопровождались множественными благословениями, церемониями, присловьями и обставлялись теми или иными обрядами.

Бедствиям и обездоленности неоткуда было ждать облегчения, в ту пору они были куда мучительнее и страшнее. Болезнь и здоровье разнились намного сильнее, пугающий мрак и суровая стужа зимою представляли собою настоящее зло. Знатностью и богатством упивались с большею алчностью и более истово, ибо они гораздо острее противостояли вопиющей нищете и отверженности. Подбитый мехом плащ, жаркий огонь очага, вино и шутка, мягкое и удобное ложе доставляли то громадное

наслаждение, которое впоследствии, быть может благодаря английским романам, неизменно становится самым ярким воплощением житейских радостей. Все стороны жизни выставлялись напоказ кичливо и грубо. Прокаженные вертели свои трещотки и собирались в процессии, нищие вопили на папертях, обнажая свое убожество и уродства. Состояния и сословия, звания и профессии различались одеждой. Знатные господа передвигались не иначе, как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Отправление правосудия, появление купцов с товаром, свадьбы и похороны громогласно возвещались криками, процессиями, плачем и музыкой. Влюбленные носили цвета своей дамы, члены братства — свою эмблему, сторонники влиятельной персоны — соответствующие значки и отличия.

Во внешнем облике городов и деревень также преобладали пестрота и контрасты. Средневековый город не переходил, подобно нашим городам, в неряшливые окраины с бесхитростными домишками и унылыми фабриками, но выступал как единое целое, опоясанный стенами и оштетившийся грозными башнями. Сколь высокими и массивными ни были бы каменные дома купцов или знати, здания храмов своими громадами величественно царили над городом.

Разница между летом и зимой ощущалась резче, чем в нашей жизни, так же как между светом и тьмой, тишиной и шумом. Современному городу едва ли ведомы мертвая тишина и непроглядная темень, впечатляющее воздействие одинокого огонька или одинокого далекого крика.

Из-за постоянных контрастов, пестроты форм всего, что затрагивало ум и чувства, каждодневная жизнь возбуждала и разжигала страсти, проявлявшиеся то в неожиданных взрывах грубой необузданности и зверской жестокости, то в порывах душевной отзывчивости, в пере-

менчивой атмосфере которых протекала жизнь средневекового города.

Но один звук неизменно перекрывал шум беспокойной жизни; сколь бы он ни был разнообразным, он в ней никогда не терялся и возносил все преходящее в сферу порядка и ясности. Это колокольный звон. В повседневной жизни колокола уподоблялись предохраняющим добрым духам, которые знакомыми всем голосами вещали — там горе, там радость, там покой, там тревогу, там созывали народ, там предупреждали о грозящей опасности. Их звали по именам: Роланд, Толстуха Жаклин, — и каждый разбирался в значении того или иного звона. И хотя колокола звучали почти без умолку, внимание к их звону вовсе не притуплялось. В продолжение пресловутого судебного поединка между двумя валансьенскими горожанами в 1455 г., повергнувшего в состояние невероятного напряжения весь город и весь Бургундский двор, большой колокол — «laquelle fait hideux à ouïr» [«ужасавший слух»], по словам Шастеллена¹, — звонил, пока не окончилась схватка. На колокольные церкви Богоматери в Антверпене все еще висит старинный набатный колокол, отлитый в 1316 г. и прозванный *Orida*, то есть *horrida* — страшный². *Sonner l'effroy, fair l'effroy* — значит *бить в набат*³; само слово *effroy* первоначально означало *раздор* (*onvrede* — *exfredus*), затем *оповещение о тревоге колокольным звоном*, то есть *набат*, и наконец — *страх*. Какое же невероятное возбуждение должно было охватывать каждого, когда все церкви и монастыри Парижа били в колокола с утра до вечера — и даже всю ночь — по случаю избрания Папы, который должен был положить конец Схизме⁴, или в честь заключения мира между бургиньонами и арманьяками^{4 2*}!

Глубоко волнующее зрелище, несомненно, представляли собою процессии. В худые времена — а они случались нередко — шествия сменяли друг друга, день за днем, за

неделей неделя. Когда пагубная распря между Орлеанским и Бургундским домами в конце концов привела к открытой гражданской войне и король Карл VI в 1412 г. развернул орифламму³, чтобы вместе с Иоанном Бесстрашным выступить против арманьяков, которые изменили родине, вступив в союз с англичанами, в Париже на время пребывания короля во враждебных землях было решено устраивать процессии ежедневно. Они продолжались с конца мая чуть не до конца июля; в них участвовали сменявшие друг друга ордена, гильдии и корпорации; они шли всякий раз по другим улицам и всякий раз несли другие реликвии: «les plus piteuses processions qui oncques eussent été veues de aage de homme» [«прежалостливые шествия, печальнее их не узришь на веку своем»]. В эти дни люди постились; все шли босиком — советники парламента⁴, так же как и беднейшие горожане; все, кто могли, несли факелы или свечи; среди участников процессий всегда были дети. Пешком, издалека, босиком приходили в Париж бедняки-крестьяне. Люди шли сами или взирали на идущих «en grant pleur, en grans larmes, en grant dévotion» [«с великим плачем, с великою скорбью, с великим благоговением»]. К тому же и время было весьма дождливое⁵.

А еще были торжественные выходы государей, обставившиеся со всем хитроумием и искусностью, на которые только хватало воображения. И в никогда не прекращающемся изобилии — казни. Жестокое возбуждение и грубое участие, вызываемые зрелищем эшафота, были важной составной частью духовной пищи народа. Это спектакли с нравоучением. Для ужасных преступлений изобретаются ужасные наказания. В Брюсселе молодого поджигателя и убийцу сажают на цепь, которая с помощью кольца, накинутаго на шест, может перемещаться по кругу, выложенному горящими вязанками хвороста. Трогательными речами ставит он себя в назидание прочим, «et tellement fit attendrir les cœurs que tout le monde

fondoit en larmes de compassion» [«и он столь умягчил сердца, что внимали ему все в слезах сострадания»]. «Et fut sa fin recommandée la plus belle que l'on avait oncques vue» [«И содеял он кончину свою примером, прекраснейшим из когда-либо виденных»]⁶. Мессир Мансар дю Буа, арманьяк, которого должны были обезглавить в 1411 г. в Париже, в дни бургиньонского террора, не только дарует от всего сердца прощение палачу, о чем тот просит его согласно с обычаем, но и хочет, чтобы палач обменялся с ним поцелуем. «Foison de peuple y avoit, qui quasi tous ploroient à chaudes larmes»⁷ [«Народу было там в изобилии, и чуть не все плакали слезами горькими»]. Нередко осужденные были вельможами, и тогда народ получал еще более живое удовлетворение от свершения неумолимого правосудия и еще более жестокий урок бренности земного величия, нежели то могло сделать какое-либо живописное изображение Пляски смерти⁵. Власти старались ничего не упустить в достижении наибольшего впечатления от этого зрелища: знаки высокого достоинства осужденных сопровождали их во время скорбного шествия. Жан дё Монтэрю, королевский мажордом, предмет ненависти Иоанна Бесстрашного, восседает высоко в повозке, которая медленно движется за двумя трубаками. Он облачен в пышное платье, соответствующее его положению: капюшон, который ниспадает на плечи, упланд⁶, наполовину красные, наполовину белые панталоны и башмаки с золотыми шпорами — на этих шпорах его обезглавленное тело и остается висеть на виселице. Богатого каноника Никола д'Оржемона, жертву мщения арманьяков, в 1416 г. провозят через Париж в телеге для мусора облаченным в просторный лиловый плащ с капюшоном; он видит, как обезглавливают двух его сотоварищей, прежде чем его самого приговаривают к пожизненному заключению «au pain de douleur et à eaue d'angoisse» [«на хлебе скорби и воде печали»]. Голова мэтра Одара дё

Бюсси, позволившего себе отказаться от места в парламенте⁷, по особому повелению Людовика XI была извлечена из могилы и выставлена на рыночной площади Эдена, покрытая алым капюшоном, отороченным мехом, «selon la mode des conseillers de parlement» [«как носил, по обычаю, советник парламента»]; голову сопровождала стихотворная эпитафия. Король сам с язвительным остроумием описывает этот случай⁸.

Не столь часто, как процессии и казни, появлялись то тут, то там странствующие проповедники, возбуждавшие народ своим красноречием. Мы, приученные иметь дело с газетами, едва ли можем представить ошеломляющее воздействие звучащего слова на неискушенные и невежественные умы того времени. Брат Ришар, тот, кто был приставлен в качестве исповедника к Жанне д'Арк, проповедовал в Париже в 1429 г. в течение десяти дней подряд. Он начинал в пять утра и заканчивал между десятью и одиннадцатью часами, большей частью на кладбище des Innocents [Невинноубиенных младенцев]⁸, с его галереями, покрытыми знаменитыми изображениями Пляски смерти. За его спиной, над аркою входа, горы черепов громоздились в разверстых склепах. Когда, завершив свою десятую проповедь, он возвестил, что это последняя, ибо он не получил разрешения на дальнейшие, «les gens grans et petiz plouroient si piteusement et si fondement, commes s'ilz veissent porter en terre leurs meilleurs amis, et lui aussi» [«все, стар и млад, рыдали столь горько и жалостно, как если б видели они предание земле своих близких, и он сам вместе с ними»]. Когда же он окончательно покидал Париж, люди, в надежде, что он произнесет еще одну проповедь в Сен-Дени в воскресенье, двинулись туда, по словам Парижского горожанина, толпами еще в субботу под вечер, дабы захватить себе место — а всего их было шесть тысяч, — и пробыли там целую ночь под открытым небом⁹.

Запрещено было проповедовать в Париже и францисканцу Антуану Фрадену из-за его резких выступлений против дурного правления. Но как раз поэтому его любили в народе. Денно и ночью охраняли его в монастыре кордельеров^{9*}; женщины стояли на страже, будучи вооружены золой и камнями. Над предостережением против такой охраны, возглашенным от имени короля, только смеялись: мол, где уж ему было узнать об этом! Когда же Фраден, следуя запрету, вынужден был наконец все же покинуть город, народ провожал его «crians et soupirans moult fort son departement»¹⁰ [«громко рыдая и вздыхая, ибо он оставлял их»].

Где бы ни появлялся доминиканец св. Винцент Феррер, чтобы прочитать проповедь, навстречу ему из разных городов спешили простолюдины, члены магистрата, клирики, даже прелаты и епископы, дабы приветствовать его хвалебными гимнами. Он путешествует в сопровождении многочисленных приверженцев, которые каждый вечер после захода солнца устраивают процессии с самобичеванием и песнопениями. В каждом городе присоединяются к нему все новые и новые толпы. Он тщательно заботится об обеспечении пропитанием и ночлегом всех, кто за ним следует, назначая самых безупречных лиц квартирмейстерами. Множество священников, принадлежащих к различным духовным орденам, сопровождают его повсюду, помогая ему служить мессы и исповедовать. Ему сопутствуют также нотариусы, чтобы прямо на месте оформлять акты о прекращении споров, которые этот святой проповедник улаживает повсюду. Магистрат испанского города Ориуэла объявляет в письме епископу Мурсии, что Винцент Феррер добился в этом городе заключения 123 актов о прекращении вражды, причем в 67 случаях причиной таковой было убийство¹¹. В местах проповедей его вместе со свитой приходится защищать деревянным ограждением от напора желающих поцело-

вать ему руку или край одежды. Когда он проповедует, ремесленники прекращают работу. Редко бывает так, чтобы Винцент Феррер не исторгал слезы у слушателей; и когда он говорит о Страшном суде, о преисподней или о Страстях Христовых, и сам проповедник, и все остальные плачут столь обильно, что ему приходится надолго умолкать, пока не прекратятся рыдания. Содеявшие зло на глазах у всех бросаются наземь и с горькими слезами каются в тягчайших грехах¹². Когда прославленный Оливье Майар в 1485 г. в Орлеане произносил свои великопостные проповеди, на крыши домов взбиралось столько народу, что кровельщик, услуги которого оказались необходимы, представил впоследствии счет за 64 дня работы¹³. Все это — настроение английских и американских сектантских бдений, атмосфера Армии спасения^{10*}, но безо всякого удержу и куда более многолюдно. Читая о воздействии личности Винцента Феррера, не следует думать о благочестивых преувеличениях его биографа; трезвый и сухой Монстреле^{11*} почти в том же тоне рассказывает, как некий брат Фома, выдававший себя за кармелита^{12*}, а позднее изобличенный в обмане, возбуждал народ своими проповедями в 1428 г. во Фландрии и Северной Франции. Магистрат приветствовал его столь же торжественно, люди благородного звания вели на поводу его мула; и многие, в том числе и господа — Монстреле называет их поименно, — покидали свой дом и семью и следовали за ним повсюду. Именитые горожане украшали воздвигнутую для него кафедру самыми дорогими коврами, какие только можно было купить.

Наряду с темами Крестных мук и Страшного суда наиболее глубокое впечатление в народе вызывало обличение проповедниками роскоши и мирской суеты. По словам Монстреле, люди испытывали чувство благодарности и глубокой признательности к брату Фоме прежде всего за то, что он осуждал пышность и великолепие, но в осо-

бенности за то рвение, с которым он обрушивал обвинения на духовенство и знать. Если благородные дамы осмеливались появляться на его проповедях в высоких, остроконечных энненах^{13*}, он имел обыкновение громкими криками: «Au hennin! Au hennin!» — науськивать на них мальчишек (суля им отпущение грехов, по словам Монстреле), — так что женщины вынуждены были носить такие же чепцы, как у бегинок^{14*}. «Mais à l'exemple du lymeçon, — добродушно продолжает хронист, — lequel quand on passe près de luy retrait ses cornes par dedens et quand il ne ot plus riens les reboute dehors, ainsi firent ycelles. Car en assez brief terme après que ledit prescheur se fust départy du pays, elles mesmes recommencèrent comme devant et oublièrent sa doctrine, et reprinrent petit à petit leur vieil estat, tel ou plus grant qu'elles avoient accoustumé de porter»¹⁴ [«Но как улитка <...> рожки свои вбирающая, ежели кто рядом проходит, и наружу их выпускающая, когда более уж ничего ей не угрожает, поступали и эти дамы. Ибо чрез краткое время, чуть только покинул земли их сей проповедник, стали они таковыми, каковы были до этого, и забыли все его поучения, и вернулись мало-помалу к прежнему своему состоянию, такому же или даже пуще того, что было»].

Как брат Ришар, так и брат Фома предпринимали *сожжения сует* — подобно тому, что шестьюдесятью годами позже, во Флоренции, в громадных масштабах и с невосполнимыми потерями для искусства творилось по наущению Савонаролы^{15*}. В Париже и Артуа в 1428 и 1429 гг. все это еще ограничивалось такими вещами, как игральные карты, кости, тавлеи, ларцы, украшения, которые послушно тащили из дому и мужчины и женщины. Сожжение подобных предметов в XV в. во Франции и Италии нередко было следствием громадного возбуждения, вызванного страстными призывами проповедников¹⁵. Оно становилось своего рода церемо-

нией, формой, закреплявшей сопровождаемое раскаянием отвержение тщеславия и мирских удовольствий; бурное переживание переходило в общественное, торжественное деяние — в соответствии с общим стремлением эпохи к созданию форм, отвечающих определенному стилю.

Необходимо вдуматься в эту душевную восприимчивость, в эту подверженность слезам и расположенность к сердечным порывам, в эту быструю возбудимость, чтобы понять, какими красками и какой остротой отличалась жизнь этого времени.

Публичная скорбь тогда еще действительно выражала всеобщее горе. Во время похорон Карла VII народ был вне себя от избытка чувств при виде кортежа, в котором участвовали все придворные, «*vestus de dueil angoisseux, lesquelz il faisait moult piteux veoir; et de la grant tristesse et courroux qu'on leur veoit porter pour la mort de leur dit maistre, furent grant pleurs et lamentacions faictes parmi toute ladicte ville*» [«облаченные в одеяния скорби, зрелище каковых вызывало горькую жалость; видя же истую скорбь и горе означенного их господина кончины ради, проливали все слезы многие, и стенания раздавались по всему этому граду»]. Шесть пажей короля следовали верхом на лошадях, покрытых с головы до ног черным бархатом. «*Et Dieu scet le doloireux et piteux dueil qu'ilz faisoient pour leur dit maistre!*» [«И единому Богу ведомо, сколь горько и жалостно скорбели они о своем господине!»]. Растроганные горожане рассказывали об одном из оруженосцев, четвертый день не прикасавшемся ни к еде, ни к питью¹⁶.

Разумеется, обильные слезы вызывало не только волнение, побуждаемое глубокой скорбью, пылкой проповедью или религиозными таинствами. Поток слез исторгала также всякая светская церемония. Прибывший с визитом вежливости посол короля Франции неоднократно разражается слезами, обращаясь с речью

к Филиппу Доброму. На церемонии прощания Бургундского двора с малолетним Жоаном Коимбрским все громко плачут, так же как и приветствуя дофина на встрече королей Англии и Франции в Ардре¹⁶. При въезде Людовика XI в Аррас видели, как он плакал; по словам Шастеллена, будучи дофином и находясь при бургундском дворе, он часто всхлипывал и заливался слезами^{17 17*}. Бесспорно, в таких описаниях содержатся преувеличения — стоит лишь сравнить их с фразой из какого-нибудь нынешнего газетного сообщения: «ничьи глаза не могли оставаться сухими». В описании мирного конгресса 1435 г. в Аррасе Жаном Жерменом все, внимавшие проникновенным речам послов, в волнении пали на землю, словно онемев, тяжело вздыхая и плача¹⁸. Разумеется, события не происходили именно так, но такими, по мнению епископа Шалонского, они должны были быть: сквозь преувеличения проступают очертания истины. Дело здесь обстоит так же, как с потоками слез у сентименталистов XVIII столетия. Рыдания считались возвышенными и прекрасными. Более того, и теперь кому не знакомы волнение и трепет, когда слезы подступают к горлу, стоит нам стать свидетелями пышной кавалькады следования монаршей особы, пусть даже сама эта особа остается нам вполне безразличной. Тогда же это непосредственное чувство было наполнено полурелигиозным почитанием всякой пышности и величия и легко находило для себя выход в неподдельных слезах.

Кто не видит различий в возбудимости, как она проявлялась в XV столетии — и в наше время, может уяснить это из небольшого примера, относящегося к совершенно иной области, нежели слезы, а именно — вспыльчивости. Казалось бы, вряд ли можно представить себе игру более мирную и спокойную, чем шахматы. И однако, по словам Ля Марша, нередко случается, что в ходе шахматной партии вспыхивают разногласия «et que le plus saige y pert

patience»¹⁹ [«и что наиразумнейший здесь утрачивает терпение»]. Ссора юных принцев за игрой в шахматы была в XV в. столь же распространенным мотивом, как и в романах о Карле Великом^{18*}.

Повседневная жизнь неизменно давала бесконечное раздолье пылким страстям и детской фантазии. Современная медиевистика, из-за недостоверности хроник в основном прибегающая, насколько это возможно, к источникам, которые носят официальный характер, невольно впадает тем самым в опасную ошибку. Такие источники недостаточно выявляют те различия в образе жизни, которые отделяют нас от эпохи Средневековья. Они заставляют нас забывать о напряженном пафосе средневековой жизни. Из всех окрашивавших ее страстей они говорят нам только о двух: об алчности и воинственности. Кого не изумит то почти непостижимое неистовство, то постоянство, с которыми в правовых документах позднего Средневековья выступают на первый план корыстолюбие, неуживчивость, мстительность! Лишь в связи с обуревавшей всех страстностью, опалявшей все стороны жизни, можно понять и принять свойственные тем людям стремления. Именно поэтому хроники, пусть даже они скользят по поверхности описываемых событий и к тому же так часто сообщают ложные сведения, совершенно необходимы, если мы хотим увидеть это время в его истинном свете.

Жизнь во многом все еще сохраняла колорит сказки. Если даже придворные хронисты, знатные, ученые люди, приближенные государей, видели и изображали сиятельных властителей не иначе как в архаичном, иератическом облике, то что должен был означать для наивного народного воображения волшебный блеск королевской власти! Вот образчик сказочной манеры такого рода, взятый из исторических трудов Шастеллена. Юный Карл

Смелый, тогда еще граф Шароле, прибыв из Слэйса в Горкум, узнает, что герцог, его отец, отобрал у него все его доходы и бенефиции¹⁹. Шастеллен описывает, как граф призывает к себе своих слуг вплоть до последнего поваренка и в проникновенной речи делится с ними постигшим его несчастьем, выражая свое почтение к поддавшемуся наветам отцу, выказывая заботу о благополучии всей своей челяди и говоря о своей неизменной любви к ним. Пусть те, кто располагает средствами к жизни, остаются при нем, ожидая возврата благой фортуны; те же, кто беден, отныне свободны: пусть уходят, но, прослышав, что суровая фортуна готова сменить гнев на милость, «пусть возвращаются; и увидите, что места ваши не заняты будут, и я встречу вас с радостью и попекусь о вас, ибо много ради меня претерпели». — «Lors oyt-l'on voit lever et larmes esandre et clameur ruer par commun accord: "Nous tous, nous tous, monseigneur, vivrons avecques vous et mourrons"» [«Тогда слышались плач и вопли, и в согласии общем вскричали они: "Все мы, все мы, монсеньор, с тобою жить будем, с тобою же и умрем"»]. — Глубоко тронутый, Карл принимает их преданность: «Or vivez doncques et souffrez; et moy je souffreray pour vous, premier que vous ayez faute» [«Живите же и терпите страдания, и я первый страдать буду о вас, только бы вы нужды не познали»]. И тогда пришли дворяне и предложили ему все, что имели: «disant l'un: j'ay mille, l'autre: dix mille, l'autre: j'ay cecy, j'ay cela pour mettre pour vous et pour attendre tout vostre advenir» [«один, говоря ему: у меня тысяча, другой — десять тысяч, еще один — прочее и прочее, чтоб отдать тебе и ожидать всего того, что с тобою свершится»]. Таким образом все шло и далее своим обычным порядком, и на кухне не стало меньше ни на одну курицу²⁰.

Живописать подобные картины — в обычае Шастеллена. Мы не знаем, насколько далеко заходит он в стилизации происшествия, имевшего место в действительно-

сти. Но для него важно только одно: поведение принца должно укладываться в простые формы, не выходящие за рамки народной баллады. Описываемое событие, с точки зрения автора, полностью раскрывается в примитивнейших проявлениях взаимной преданности, выраженных с эпической сдержанностью.

Хотя механизм государственного управления и хозяйствования к тому времени принимает уже довольно сложные формы, проекция государственной власти в народном сознании образует неизменные и простые конструкции. Политические представления, окрашивающие жизнь эпохи, — это представления народной песни и рыцарского романа. Короли как бы сводятся к определенному числу типов, в большем или меньшем соответствии с тем или иным мотивом из рыцарских походов или из песен: благородный и справедливый государь; правитель, введенный в заблуждение дурными советами; мститель за честь своего рода — или попавший в несчастье и поддерживаемый преданностью своих подданных. В государстве позднего Средневековья бюргеры, обложенные непосильными налогами, без права решать, на что расходуются все эти средства, живут в постоянном сомнении, не ведая, расточаются ли деньги их понапрасну или идут на общее благо. Недоверие к государственной власти питается нехитрыми представлениями о том, что король находится в окружении алчных и лукавых советников; либо причиной того, что дела в стране идут из рук вон плохо, являются царящие при дворе роскошь и чрезмерное изобилие. Таким образом, для народа политические вопросы упрощаются и сводятся к всевозможным эпизодам из сказок. Филипп Добрый прекрасно сознавал, какого рода язык был доступен народу. Во время празднеств в Гааге в 1456 г. он, с целью произвести впечатление на голландцев и фризов, которые иначе могли бы подумать, что ему не хватает средств, чтобы вступить во владение Утрехтским

епископством, велел выставить в покоях замка, рядом с рыцарской залой, посуду стоимостью в тридцать тысяч марок серебром. Каждый мог прийти и поглазеть на нее. Помимо этого, из Лилля было доставлено два сундучка, в которых находилось двести тысяч золотых крон. Многие пробовали их приподнять, однако все старания были тщетны²¹. Можно ли придумать более убедительный способ совместить демонстрацию размеров казны — с ярмарочным балаганом?

Жизнь и поступки коронованных особ нередко содержали в себе некий фантастический элемент, напоминающий нам о халифах *Тысячи и одной ночи*. Даже пускаясь в хладнокровно рассчитанные политические предприятия, государи то и дело ведут себя с безрассудством и страстностью, из-за мимолетной прихоти подвергая опасности свою жизнь и свои цели. Эдуард III без колебаний ставит под удар себя, принца Уэльского и интересы своей страны только для того, чтобы напасть на несколько испанских судов в отместку за их пиратские действия²². — Филипп Добрый однажды вознамеривается женить одного из своих лучников на дочери богатого лилльского пивовара. Когда воспротивившийся этому отец девушки обращается с жалобой в Парижский парламент^{20*}, герцог, впад в ярость, бросает важные государственные дела, которые удерживали его в Голландии, и, пренебрегая святостью Страстной недели, предпринимает опасное путешествие по морю из Роттердама в Слёйс, дабы удовлетворить свою прихоть²³. Или, охваченный яростью после ссоры со своим сыном, он, как сбежавший из дому мальчишка, вскочив в седло, тайно покидает Брюссель и всю ночь блуждает по лесу. Когда же герцог наконец возвращается, рыцарю Филиппу По выпадает на долю деликатная задача его успокоить. Искусный придворный находит слова, как нельзя более подходящие к случаю: «*Bonjour, Monseigneur, bonjour,*

qu'est cecy? Faites-vous du roy Artus maintenant ou de messire Lancelot?»²⁴ [«Дня доброго, монсеньор! Что это? Уж не мнится ли Вам, что на сей раз Вы король Артур или мессир Ланселот?»]^{21*}.

И не напоминает ли нам поступки халифов случай, когда тот же герцог из-за того, что лекари предписали ему обрить голову, пожелал, чтобы вся знать сделала то же самое, и повелел Петеру фон Хагенбаху, ежели тот какого-либо дворянина увидит с прической, тотчас же остричь его наголо²⁵. Или когда юный король Франции Карл VI, сменив платье и усевшись вместе с другом на одну лошадь, направляется посмотреть на торжественный въезд своей невесты Изабеллы Баварской, а стража, тесня толпу, награждает его ударами²⁶. — Один из поэтов XV в. порицает князей за то, что они возводят шутов в ранг придворных советников и министров подобно тому, как это произошло с *Coquinet le fou de Bourgogne*²⁷ [Кокине, дурнем Бургундским].

Искусство правления еще не ограничивается исключительно рамками бюрократии и протокола: в поисках руководящей идеи в своей политике государь может отклониться от них в любую минуту. Так, в XV столетии при решении государственных дел князья то и дело ищут совета у неистовых проповедников, аскетов и духовидцев. И Дионисий Картузианец, и Винцент Феррер выступают как политические советники; известного своими громкими проповедями Оливье Майара, этого французского Брюгмана, привлекают к наиболее конфиденциальным придворным переговорам²⁸. Элемент религиозного напряжения, таким образом, активно присутствует в высокой политике.

К концу XIV — началу XV столетия высокий спектакль монарших устремлений и авантюр более, чем когда-либо, питает воображение представлениями о разыгрывающихся в кровавой политической сфере ужасных

трагедиях с их захватывающими примерами краха пышности и величия. Когда в Вестминстере Английский парламент выслушивает сообщение о том, что побежденный и заключенный в тюрьму своим дядей Ланкастером король Ричард II лишен трона, в Майнце в том же сентябре того же 1399 г. собираются германские курфюрсты^{22*}, для того чтобы низложить своего короля Венцеля Люксембургского, вряд ли способного управлять страной, не отличавшегося особым умом и с характером таким же неустойчивым, как у его английского зятя, окончившего свою жизнь столь трагически. Венцель еще долгое время оставался королем Богемии, тогда как за низложением Ричарда последовала его загадочная смерть в темнице, которая не могла не вызвать в памяти убийство его прадеда Эдуарда^{23*} семьдесятю годами ранее. Не таился ли уже в самом обладании короной источник бед и опасностей? Трон третьего по величине христианского королевства^{24*} занимает безумный Карл VI; проходит немного времени, и страну раздирают дикие распри всяческих группировок. В 1407 г. соперничество между Орлеанской и Бургундской династиями вылилось в открытую вражду: Людовик Орлеанский, брат короля, гибнет от рук тайных убийц, нанятых его кузеном герцогом Бургундским Иоанном Бесстрашным. Двенадцатью годами позже свершается месть: в 1419 г. Иоанн Бесстрашный предательски убит во время торжественной встречи на мосту Монтеро. Убийство двух герцогов и тянущаяся за этим вражда, питаемая жаждой отмщения, порождают ненависть, которая окрашивает в мрачные тона французскую историю на протяжении чуть ли не целого столетия, ибо народное сознание все несчастья, обрушивающиеся на Францию, воспринимает в свете этой всепоглощающей драмы; оно не в состоянии постичь никаких иных побудительных причин, повсюду замечая только личные мотивы и страсти.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие к первому изданию</i>	5
ГЛАВА I. Яркость и острота жизни	8
ГЛАВА II. Желание более прекрасной жизни	49
ГЛАВА III. Иерархические отношения в обществе	94
ГЛАВА IV. Рыцарская идея	108
ГЛАВА V. Мечта о подвиге и любви	125
ГЛАВА VI. Рыцарские ордена и рыцарские обеты	139
ГЛАВА VII. Значение рыцарского идеала в войне и политике	156
ГЛАВА VIII. Стилизация любви	180
ГЛАВА IX. Обиходные формы отношений в любви	202
ГЛАВА X. Идиллический образ жизни	215
ГЛАВА XI. Образ смерти	231
ГЛАВА XII. Образное претворение веры	254
ГЛАВА XIII. Типы религиозной жизни	298
ГЛАВА XIV. Религиозные переживания и религиозные представления	323
ГЛАВА XV. Отцветшая символика	344
ГЛАВА XVI. Реализм и ослабление образности в мистике	366
ГЛАВА XVII. Формы мышления в практической жизни	392

ГЛАВА XVIII. Искусство в жизни	428
ГЛАВА XIX. Чувство прекрасного	467
ГЛАВА XX. Образ и слово	479
ГЛАВА XXI. Слово и образ	526
ГЛАВА XXII. Приход новых форм	555
<i>Примечания</i>	576
<i>Хронологическая таблица</i>	626
<i>Комментарии Дмитрия Харитоновича</i>	642
<i>Генеалогические таблицы</i>	703

Научно-популярное издание

Йохан Хейзинга

ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Выпускающий редактор П. Шиков
Художественный редактор С. Карпухин
Технический редактор Л. Синицына
Корректоры Т. Филиппова, Н. Соколова
Компьютерная верстка Н. Козель

Главный редактор Александр Жикаренцев

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» —
обладатель товарного знака «Азбука»
115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»
в г. Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

ЧП «Издательство «Махаон-Украина»
04073, Киев, Московский проспект, д. 6, 6-й этаж
Тел./факс (044) 490-99-01
e-mail: sale@machaon.kiev.ua

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

16+

Подписано в печать 09.11.2018. Формат 75×100^{1/32}.
Бумага писчая. Гарнитура «Pt Serif».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,28.
Тираж 4000 экз. В-NFA-23949-01-R. Заказ №9

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт». 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А
www.pareto-print.ru